

Глеб Иванович Успенский

Из биографии искателя теплых мест



Глеб Успенский

Из биографии
искателя теплых мест

«Public Domain»

1870

Успенский Г. И.

Из биографии искателя теплых мест / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1870

«...И вот эту-то глушь, бывшую бесплодною пустыней для людей легкой наживы старого времени, современные опустошители сумели превратить для себя в золотое дно, единственно благодаря благодетельствующему и увеселительному приему, заменившему собою и действительное сдирание шкуры с простодушного обывателя, и отвод глаз, и обещания царствия небесного и т. д. За заставой например, где валялся в канаве и в грязи кулак, умиравший впоследствии с голоду, теперь охотится на мужика целая толпа джентльменов; этим людям нельзя дать другого названия, потому что они, видимо, хотят быть джентльменами: для этого они нарядились в пиджаки, шляпы, слегка сидящие на затылке, и каждый закусил зубом по толстой сигаре...»

Содержание

I	5
II	8
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Глеб Иванович Успенский

Из биографии искателя теплых мест

(Карикатурные наброски)

I

...Едва ли не вместе с первым поездом новой дороги, прихватившей уездный городок *** более или менее к свету, неизвестно откуда налетело в него бесчисленное множество какого-то инородческого воронья, тотчас же принявшегося опустошать глухую сторону самыми разнообразными способами: в глухих уездных улицах, на деревенских ярмарках появились коленкор-вые вывески о лотереях с значительными выигрышами, о распродажах с премиями, о представлениях с сюрпризами; повсюду завелись фортуны, юлы, билеты, на которые ждут получения, чтобы выдать дочку замуж, и так далее. Все эти знакомые столичному жителю попытки, не наносящие ему особенного ущерба в ряду надувания еще более поглощающего свойства, — в глуши, в бедной, нищенствующей стороне уподобляются своею опустошительностью моровой язве, пожару, нашествию орды сарайской, формальному грабежу. Успешность действий налетевшего воронья в особенности обеспечивается тем, что обыватель никоим образом не усматривает в этом действии ни малейшей тени грабежа. С грабежом обыватель глуши давно знаком; он знает его во всех статьях и давно привык кричать: «обман!», бегая при этом по торжищу и раздирая на себе ризы, но здесь он не знает его, видя не грабеж, а благодеяние... Это последнее качество современного грабежа, давая опустошителям основательную поживу, совершенно отличает их от людей, занимавшихся тою же профессиею в прежнее время.

В самом деле, кто в прежнее время, помимо людей, приходивших брать с простоты обязательную уплату, зарился на оставшийся от этой уплаты грош? На первом плане, несомненно, стоит целовальник; название *душегуба* и *кровопийцы* столь же неразрывно связано с его званием, как и название хищного зверя связано с волком... Не без успеха на тот же грош охотился кулак, поджидавший мужичий воз, лежа в грязи в канаве за заставой; с помощью отвода глаз и дьявольского наваждения иногда обдывал свои дела цыган... Кроме этих собственно грабителей, за получением того же гроша, спрятанного в чулке под печкой на случай смерти, шел с Белого моря старец, божий человек, прискакивал босый и почти голый Фомушка-юродивый с палицей и, став на одной ноге, говорил: «дай грошик!» Плелись нищие и нищенки, стеная и суля блаженство за могилой... Лиц, желавших получить грош помощью увеселений, почти не было, исключая разве деревенского мальчишки, который кой-когда забредал в глушь, неся для потехи публики или хорька в мешке, или ежа в руках; шатаясь по глухим улицам, он пел стишок своего сочинения: «Выходите, господа, посмотрите на зверя», и ждал: «не пожалуют ли чего?..» Вот почти все, что норовило овладеть оставшимся от уплат грошом; тут и хищники, и успокоители, и увеселители; нельзя сказать, чтобы их было мало и чтобы они действительно не получали барышей; но каковы в сущности были эти барыши? Самый отъявленный грабитель, целовальник, получал барыш только после долговременнейшего грабежа. Веря, что камень обрастает, лежа на одном месте, он обыкновенно прирастал десятка на два, на три лет к какому-нибудь поселку, состоящему из пяти-шести дворов, и кровопийствовал над ними без пощады. «Ты мне подвержен!» — говорил он совершенно открыто обывателю поселка, что значило — простись с полушубком! «Помилосердуй!» — умолял обыватель. Но целовальник не отвечал на это, а, поплевав на руки, прямо воротил шкуру обывателя с затылка. «Грабитель ты, Исай Ильич». — «А ты думал, я — нянька тебе достался?» Очевидный грабеж этот основывался в целовальнике на убеждении, что душа его принадлежит дьяволу и что, следовательно, все

равно – заодно кипеть в смоле. Это тягостнейшее сознание тяготело в нем десятки лет, вместе с проклятиями и угрозами ограбляемых им обывателей; к концу жизни, когда душа его была уже совершенно отягощена грехами, приходило благосостояние, то есть возможность ежеминутно мазать свои сапоги дегтярным помазком, а по праздникам окунать их прямо в бочку. Тут он начинал служить молебны, замаливать грехи, угощать станowego и причт, питаясь сам исключительно и непременно только редькой и не показывая вида, что в подполье у него хранится пара новых лаптей, ибо как только прохожий солдат замечал их вместо редьки, капусты с маслом и квасом, то тотчас же догадывался о богатстве целовальника и начинал подглядывать под лавку, где лежал топор... При самых тщательных соблюдениях «уха остро», при самых изысканнейших выдумках на тему о том – что нечего есть, что скоро пойдешь с сумой, большею частию случалось так, что солдат увлекал внимание целовальника рассказами о царских смотрах и, дотянув дело до ночи, внезапно отхватывал целовальнику голову топором, овладевал лаптями и скрывался в дремучий лес... А как надрывал свою грудь цыган, чтобы всю жизнь ходить голым и голодным? Какими проклятиями должен был осыпать кулак свою жену и детей, чтобы уверить простого человека в чистоте своих намерений: овладеть меркою овсеца, пропить ее в кабаке, быть избитым целой ярмаркою и умереть, как умер Ильич¹? Странник, божий человек, должен был сделать тысячи верст, самолично побывав на Белом море и в Иерусалиме, принести оттуда выжженный на груди и на руке крест, мерзнуть от вьюг и метелей, жечься на солнце, страдать от волков, врачуя прокушенную ими ногу собственными средствами, травами и листьями... И тогда только он получал скудное даяние, но и на это даяние уже зарился прохожий солдат и поджидал странника в лесочке со шкворнем в руках, надеясь пожить. Только бог спасал старца от гибели помощью заключения в темницу, ибо по уходе старца от доброхотного дателя обнаруживалась пропажа набойчатого платка... Не ранее как через год кухарка, обуреваемая ночными видениями, валилась господам в ноги, прося разметать кости ее по полю, ибо платок – ее грех; безвинного старца выпускали, и, пробираясь леском, он наконец-таки встречал прохожего солдата, исхудавшего в ожидании старца наподобие лучинки. «Бог на помощь!» – говорил он старцу, присоединяясь к нему, заводил речь о турках и, отвернувшись на минутку по своему делу, внезапно наносил ему смертельный удар шкворнем по голове... Старец падал мертв, а солдат, овладев сумкой, в которой хранился «Сон пресвятыя богородицы», исчезал в дремучий лес. – Барыши увеселителя мальчишки были еще ничтожнее: имея пагубное убеждение, что в увеселениях нуждаются господа, он шатался с своим ежом и стихом: «Посмотрите на зверя» под господскими окнами. А так как в редкое окно глухого городка не глядит начальство, то ежа у мальчишки обыкновенно отнимали «для детей», уплачивая вопросами: «имя? звание? кто? откуда?», на которые мальчишка отвечал бегством... Бывали случаи, что ему попадала корка хлеба; бывали случаи, что он, идя леском, хотел ее отведать, но в это время невдалеке показывался прохожий солдат со шкворнем, поступая на этот раз по-божески, то есть брал корку, не убивая на смерть, а только помахав шкворнем над затылком мальчика...

Вот приблизительно все барыши, которыми пользовались претенденты на оставшийся грош в прежнее время. Количество их до такой степени неуловимо, что прохожий солдат, наконец-таки схваченный и закованный в кандалы, мог совершенно по чистой совести отвечать судьям: «не помню, не знаю» на вопросы их: «где был? чем жил? что ел?»

И вот эту-то глушь, бывшую бесплодною пустыней для людей легкой наживы старого времени, современные опустошители сумели превратить для себя в золотое дно, единственно благодаря благодетельствующему и увеселительному приему, заменившему собою и действительное сдирание шкуры с простодушного обывателя, и отвод глаз, и обещания царствия небесного и т. д. За заставой например, где валялся в канаве и в грязи кулак, умиравший впоследствии

¹ Герой поэмы Никитина «Кулак».

с голоду, теперь охотится на мужика целая толпа джентльменов; этим людям нельзя дать другого названия, потому что они, видимо, хотят быть джентльменами: для этого они нарядились в пиджаки, шляпы, слегка сидящие на затылке, и каждый закусил зубом по толстой сигаре... Слегка странное впечатление, которое они могут произвести на постороннего зрителя, прогуливаясь в пятом часу утра за заставой, они побеждают необыкновенной солидностью телодвижений и походки, необыкновенно гордым и беспечным видом, с которым они гуляют, курят и при появлении мужичьего воза преграждают ему дорогу...

Франтами они нарядились для того, чтобы скрыть от взоров русского мужика свое происхождение, – большею частью это немецкие или польские евреи, – и, избежав с помощью сигары и шляпы необходимость разрушать недоверие мужика, основанное на «свином ухе» и «христопродавстве», прямо приступают к делу, то есть к мужичьей бедности и нищете. Они не клянутся, не заговаривают с насадой в груди, как кулак, потому что они и не умеют говорить по-туземному, а действуют посредством денег – языка, для нищеты крайне любезного. Денег у них много; благодаря им они имеют возможность купить у мужика «все», и не только то, что есть, а даже и то, что будет на будущий год и еще года на два, на три... Это объясняет и их обилие и возможность курить сигару, носить шляпу, тогда как кулак, разбойничавший без гроша, норовил урвать мерку овсеца и умирал как сказано выше, то есть с голоду.

После кулака оставались проклятия, после джентльмена – масса денег в руках мужика – и благодарность... Если мало ему этих денег, он может получить еще с помощью лотерей, юл, фортунок и т. д. Это тем более кажется вероятным, что облагодетельствованный туземец пьян с радости, да кроме того, ему коротко известно, что в Усмани был с одним мещанином случай: заплатил он гривенник, а выиграл самовар... С пьяных глаз хочется спешить этим делом потому, что вывеска кричит народу большими красными буквами: «Еще только два дня...» Обыватель спешит... Ничего, что он проигрался, – дело поправимое: можно вернуть все с большим барышом... «Нет денег? А самовар-то вы выиграли? Ставьте и вертите сколько угодно...» Самовар исчезает совершенно неожиданно... «Ставить нечего». – «Как нечего! А лен, а сало?» – «И яиц можно?» – «И яиц, что угодно... всем магазином отвечаем». – «Абма-а-ан», – шатаясь из стороны в сторону, шепчет про себя обыватель, не решаясь по-старинному громко возвестить об этом на торжище, ибо виноват он сам: ему не хотели ничего, кроме добра, ему дали денег столько, сколько он не видывал отроду... «Да ведь выиграл же в Усмани мещанин», – думает общипанный туземец, как на место улетевших благодетелей уже налетают новые, беспokoящие тихую уездную улицу церемониальным и совершенно небывалым шествием... Впереди несут громаднейшую афишу с изображением танцующей девицы (это для господ), с исчислением фокусов белой и черной магии (для мальчишек) и с обещанием разыграть в пользу посетителей предстоящего представления две коровы... «Абм-ман!» – думает обыватель, но пара коров шествует вслед за афишей налицо... Ленты и бантики, навешанные на них, свидетельствуют о том, что это те самые коровы, которые могут быть выиграны всяким за самую ничтожную цену... «Обмана нет; счастье – дело божие: либо пан, либо пропал...» – думает обыватель: – воротись, выиграть что-нибудь нужно, непременно нужно... дочь невеста... да и в Усмани был же случай...» И глядишь, деревянный балаган, наскоро сколоченный среди уездной площади, в тот же вечер трещит от множества народа. Дырявая парусина на его крыше ходит волнами от степного рвущего ветра, который, на ужас уездных старушек, разносит уханье барабана, звон медных тарелок, песни и хохот по всем закоулкам и лачужкам городка... Да! при виде этого веселого опустошения кровопийца целовальник является щенком, глодавшим с голоду старую кашу, тогда как настоящий кусок прикрыт лапой настоящей собаки...

«А я думал, кровь я пил, – думал не без злой и горькой иронии кровопийца. – А я даже несколько этой крови и не пил-с...»

II

Не исчисляя всех видов опустошителей и их приемов, можно вывести общее заключение, что первобытные формы грабежа, руководившие целовальником, кулаком, возведены инородцами в самую правильную систему, облеченную в форму преимущественно увеселительную и рекомендующую бедности возможность обогащения... Всеобщая потребность в этом обогащении, как видно, с каждым днем все более и более упрочивает успех опустошительного дела и не сулит опустошителям, повидимому, ничего, кроме барышей...

Но Антон Иванович Чижов, портной из Москвы, недавно прибывший в городок ***, не вполне согласен с этим.

– Грабят-то грабят – надо говорить по совести, – а не туда! Нет! Не в то место попадают!.. Нет...

Так рассуждает он, сидя с работой под окном маленькой хибарки своей родственницы прачки.

– В какое еще место попадать? – не весьма довольным тоном возражает ему родственница. – Кажется, и так живого места не осталось... Не в то еще место!.. Я слушаю, вы только любите разговаривать, а толку от ваших разговоров очень мало.

Антон Иванов принимается работать иглой, хотя вообще он весьма ленив, и молчит.

– Считаетесь вы московские, – продолжает родственница: – а не можете иметь столько ума, чтобы себя успокоить... Добрые люди за все принимают. Тот розыгрыши... тот билеты... всякий ухватит по силе, по мочи... А вы только разговариваете: «не в то место!..» в какое это место? Я сама на билетах нищей стала – кажется, это им пошло... И это не барыш?..

Антон Иванов вздергивает иглу все выше и выше над головой.

– Ну что вы иглой сделаете?.. Да в нашей стороне и брюк-то ваших никому не нужно... а считаетесь с умом, будто московские...

Родственница умолкает и, обернувшись к Антону Иванову спиной, сердито вскидывает на веревку против окна мокрое белье. Молчат они долго. Игла ходит тише и, наконец, останавливается совершенно... Антон Иванов приподнимает голову и не без робости произносит:

– Анна Карповна! не туда, матушка!.. Не в то место попадают-с! Ну что они наладили бить всё в мужика. Что у него есть, скажите на милость? Ну годик-другой потянут, а потом и шиш возьмут; у него и так одни онучи остались... Наладили одно – мужика обирать! Эко диво, ей-богу!.. А того не видят, что совсем не в то место надо... Надо запускать дело так, чтобы в хорошее место оно было запущено...

– Погляжу, как вы будете запускать.

– Запустим-с... Позвольте оглядеться, ничего-с...

– В какое это такое место?.. Где такие клады у вас?..

– Запустим, – понижая тон до степени шопота, впрочем весьма самоуверенного, произносит Антон Иванов и почему-то вновь припадает к работе.

Разговор этот ведут не разбойники и не грабители, а просто бедные люди; и если у Антона Иванова разговор о запуске лапы сделался господствующим, то это произошло от особенных причин.

Антон Иванов был когда-то крепостной и по желанию господ поступал то в портные, то в лакеи, то в повара, нигде не успевая изучить дела, во-первых, потому, что его слишком быстро отрывали от одного дела к другому, а во-вторых, потому, что по натуре он отличался склонностью к живописи и обладал в качестве талантливой натуры значительною художественною ленью. Лень эта прекратила стремление к живописи на нелепейшем изображении двух фигур неизвестного пола, лежащих подле лесу, не научила ни поварскому, ни портняжному искусству, помогая понимать дело лишь в общих чертах и потом скучать им.

Частая перемена мест и занятий, сталкивая его с разным народом, приучала задумываться вообще о жизни человеческой, а лень превратила эту наблюдательность в любовь к рассуждениям и обсуждениям. Работать с такими стремлениями у хозяина нельзя, и Антон Иванов работал один, работал кое-как, плохо, лениво, гнезвился в глуши Москвы, не имея почти давальцев, хотя знакомых, с которыми можно потолковать, у него было много.

Таким образом, им было обсуждено все, что случилось с русским человеком в последние годы; но покуда все эти события были внове, толковать было можно спокойно, плачась на участь и не стесняя себя во всевозможных фантазиях: рассуждения эти происходили где-нибудь в бане на полке или под машиной в трактире за парой чаю... Но с течением времени современные новости начали утрачивать характер чего-то неопределенного и быстро стали окрашиваться оттенком стремления к опустошению. Антон Иванов не мог не видеть этого и с каждым днем стал испытывать дух времени на своей шкуре: каждый день стали его таскать к мировому за худо сшитый жилет, за окороченный, сюртук; стали его подводить под статьи, описывать, штрафовать, заключать в темницы. В то же время он видел, что это происходит не с одним им, что каждый день массы людей открыто подводят друг под друга какие-то непостижимые махины, от которых ничего не стоит сгинуть, подобно капустному червю. Это его обескуражило. Портное мастерство, с таким знанием, какое было у Антона Иванова, могло его привести к Сибири и каторге, так по крайней мере ему показалось. Стал он задумываться насчет нового какого-нибудь дела, но и тут стремление к лени оказалось помехой; ему не под силу было как-нибудь при помощи любовницы оборудовать буфет на железной дороге или открыть какую-нибудь «Сербию», представить себя тоже иностранцем, говорить «мой» вместо «я» и обыгрывать на билиарде славянских братьев. Словом, повсюду открылось такое обилие разных ловкостей, подходов, махин, такое обилие людей, которые всё это понимали и как будто специально с давних пор готовились к обдeldыванию ловких дел, что у Антона Ивановича захватило дух. Потянуло его на родину, где потише, где можно удить рыбу и где, он помнил, были благословенные места...

С такими совершенно мирными наклонностями прибыл он в уездный городок ***, где у него была родственница и где он надеялся еще пожить насчет своей вывески: «вновь приезжий из Москвы». Но, к удивлению его, здесь уже были «вновь приезжие из Петербурга», стучали швейные машины, и в заплесневелых оконцах глядели модные картинки. Все они уже пустили корни, обстроили свои дела практично, рассудительно, и не с ними можно было конкурировать лени Антона Иванова... Антон Иванов до такой степени оторопел, до такой степени остался без хлеба, что, дабы не быть выгнанным родственницей, с испугу заговорил необыкновенно храбро и разбойнически.

– Пустое дело!.. Ничего не стоит! – испугавшись, но, повидимому, довольно развязно сплевывая в сторону, говорил он относительно какого-нибудь нового увеселительно-грабительского явления. – Этак-то, конечно... пожалуй – грабь... Да что толку-то?.. Навертел пустых билетов, да и обираешь – это, брат, не бог весть... Эко ухитрился!..

– Ну как же по-вашему-то? – недоумевая перед этим самоуверенным тоном, вопрошала родственница, не успевшая еще рассердиться.

– Мало ли как можно...

– Ну да как же так? Вы говорите, плохо, – а у кого барыши-то? У них, – а мы голые... Как же хорошо-то, по-вашему?

– Да мало ли орудиев... Что ж я буду раздобарывать без толку... Дай время... Ухватим свое... Эко ухватились в самом деле! Ха-ха-ха!

Перебиваясь кое-как мелкой починкой у приказных, Антон Иванов хотя и не терял самоуверенного тона, но в душе глубоко надеялся, что все это должно прекратиться, что такому человеку, как он, будет легче. Но время шло и, так сказать, на крыльях своих несло все новые и новые виды людей легкой наживы. Родственница, втайне чувствовавшая, что во многоглаго-

лании гостя спасения нет, – старалась подвигнуть его к действию и всякий раз, возвращаясь с работы домой, приносила ему какую-нибудь поучительную весть. «Вы бы, Антон Иванович, на кладбище сходили, – говорила она: – например, люди говорят, какие там бабы устроили грабежи любопытные – так это очень, очень мило! Всё, может, надумаете... Мы тоже, сами знаете, чуть ходим... Право-с!» Антон Иванов шел узнавать о вновь открытых грабежах и приносил по обыкновению известие, что «пустое дело... эго выдумали». Оказалось, что старухи – подьячихи, мещанки и разные бесприютные древние вдовы – стали лепить к кладбищенской каменной ограде какие-то клетушки из земли и навоза или помещались в надгробных деревянных будочках с разрешения купцов-благотворителей, обмазывали эти здания глиной и, неперестанно поминая благотворителя о здравии, а усопших сродников его о упокоении, кое-как влачили последние годы жизни, причитая на похоронах и по окончании их рекомендуя посватать невесту – вдовицу, жениха – вдове. Но вообще в этой странной обители не было ничего, кроме сухих кусков пирога, злости, слез, холода, взаимной вражды, и Антон Иванов мог по совести назвать этот способ наживы пустым и удерживать тайное негодование родственницы к его нерадению в пределах некоторой деликатности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.